

К 80-летию со дня рождения Всеволода Вишневского

ГОД РОЖДЕНИЯ — ДВАДЦАТЫЙ ВЕК



своим художественным принципам, новой крупнейшей удачей стала и его следующая работа — в кино. «Мы из Кронштадта» — эта картина вышла на экран непросто, и обвинения, выдвинутые против нее, подозрительно смахивали на обвинения в адрес «Оптимистической трагедии» — авторский почерк был один. И вот итог: так же, как «Оптимистическая трагедия», спустя годы, по-прежнему открывает список лучших пьес нашей драматургии, так и «Мы из Кронштадта» по праву заняла место рядом с «Чапаевым». Вместе с Ефимом Дзиганом, постановщиком знаменитого фильма, другом и соратником драматурга еще по Первой Конной армии, где они служили в гражданскую войну, смотрели мы недавно сызнова эту картину, и вновь я подивился ее неостывающей страсти, экспрессии, лаконизму, реализмическому и условному, символическому и конкретному, причудливо и органически вплетающимся в художественную ткань, нисколько не подменяя, а лишь дополняя друг друга.

Удивительнее всего, что и сегодня средства художественного выражения в «Мы из Кронштадта» выглядят новаторскими — вот уж картина, которая нисколько не устарела ни по содержанию, ни по форме!

И я смотрел на плавающие в темной, осенней воде Балтики осиротевшие бескозырки и снова проникался мощью, поэзией и грустью этой классической в мировом кинематографе сцены, и мысленно видел Всеволода Вишневского в черной флотской шинели, в тупоносых флотских ботиночках, с наганом в черной кобуре, провожающего во флотском экипаже в Кронштадте сошедших с кораблей и идущих черным бушлатным строем по старинным петровским плитам матросов — под стены Ленинграда.

До сих пор слышу стук матросских башмаков, слышу Вишневского, задыхающегося, в волнении, интонацию его голоса, матроса девятнадцатого, напутствующего матросов сорок первого обжигающим, палящим словом комиссара... Этот голос потом звучал в радиорастворах осажденного города, во тьме, холоде и голоде блокады. А «Мы из Кронштадта» крутили в матросских кубриках, киносаисы то и дело прерывались сиренами боевой тревоги... Вишневский действовал.

Чудом уцелела у меня в блокаде скромная книжка в серой обложке, вышедшая в Государственном издательстве художественной литературы почти пятьдесят лет назад. На обложке — «Вс. Вишневский. «Первая Конная». И — дарственная надпись: «Тов. А. Штейну — в год 1931 — сделаем нужные вещи и в театре и вне его. Эта книга — пригодится. Вс. Вишневский. 25/1 — 1931 г.»

Спасибо, Всеволод! Пригодилась! Спусти десятилетия, когда писалась пьеса «У времени в плену», поставленная в Москве В. Плучеком, — фантазия на темы Всеволода Вишневского, посвященная моему дорогому другу.

В эти дни ему исполняется восемьдесят лет.

Александр ШТЕЙН.

Время, этот великий корректировщик, не однажды вносило свои поправки, иногда и горькие, иногда и решающие, в наши казавшиеся неизблемыми оценки истинного в искусстве.

Иной раз боязно прослушать пластинку с пленявшим тебя некогда монологом выдающегося артиста — не покажется ли его речь излишне театральной, даже напыщенной, не исчезла ли естественная интонация, хотя голос тот же? Боязно перечитать старую пьесу, рождавшую восторг. Посмотреть милый сердцу давнишний спектакль...

Жаль невосполнимой потери когда-то счастливых мгновений...

Тем дороже произведения, с годами, а то и с десятилетиями набирающие, как выдержанное вино в глубоких подвалах, новую, свежую и пьянящую крепость.

«...В литературном мире нет смерти, и мертвецы так же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как живые», — сказано Н. В. Гоголем.

Год рождения двадцатого века — год рождения Всеволода Вишневского. Вторая половина столетия шла и идет без него. И — с ним. Вмешивался в дела наши и действовал вместе с нами, как живой. Ровесник столетия не только по точному совпадению с календарем, но и по сути дела. По революционной сути. Совсем не случайно манили его из тысячелетнего театрального далека греческие Хоры, не случайно явились Ведущие в его пьесах — «наша память, наше сердце, наша совесть, наша радость, наш гнев...». Ровесник и сын века. Со всеми присущими ему взлетами, падениями, радостями, разочарованиями, бурями, катаклизмами, увлечениями, преувеличениями, оценками, недооценками и переоценками...

И жизнь прожил в срок, уготованный судьбой и усталым сердцем, и износившимися в непрестанном горении и борении нервными клеточками, жизнь, да не одну, а несколько, из которых каждая была по-своему единственной.

Жизнь мальчика из петербургской дворянской семьи, чинно гулявшего по Невскому проспекту и Летнему саду, внезапно превратилась в другую жизнь — солдата первой мировой войны (четырнадцать лет от роду бежит на Западный фронт). У меня есть фотография Всеволода в форме русского егеря, на груди Георгиевский крест и Георгиевская медаль — наивысшие в ту пору отличия боевой, окопной смелости. Служба разведчика в спешном лейб-гвардии егерском полку — первый университет из многих, пройденных Вишневским, смолodu пошедшим «в люди». А потом была и иная, непохожая и единственная жизнь красногвардейца, участвовавшего в октябрьских боях, матроса отряда, сопровождавшего поезд, который вез Советское правительство, переезжавшее из Петрограда в Москву. В Москве в матросских шеренгах шел в атаку на штаб анархистов на Поварской. Тут же, в Москве, записался добровольцем на Волжскую военную флотилию. Воевал на «Ване-коммунисте» — флагман Волжской флотилии погибнет в речном бою, высадив десант на берег Камы. К оставшимся в живых и выплывшим после гибели корабля придет комиссар Волжской флотилии, начальник Политуправления Лариса Рейснер, попросит рассказать о том, как произошло сражение, матросы вытолкнут юно-

го пулеметчика и скажут: «Валей, ты умеешь». «Она выслушала, — писал он впоследствии, — потом подошла и поцеловала в лоб. Парни заржали, она посмотрела, и все утихло. Это было просто и у меня осталось в памяти на всю жизнь». Вишневский не знал, кто такая Лариса Рейснер, она не знала, что этот пулеметчик, коренастый, курносенький, с узкими щелочками глаз, — вчерашний гимназист из интеллигентной петербургской семьи. Пути революции поистине неисповедимы...

А Вишневский потом запишет, думая о Ларисе Рейснер: «... петербургская культура, ум, красота, грация и... комиссар Волжской военной флотилии».

В этом столкновении, сшибке, ломке представленный — драматургия «Оптимистической трагедии». И — драматургия его собственной жизни.

Была потом и еще одна жизнь — по-своему тоже единственная, по-своему тоже противоречивая, сложнейшая, трудная, когда уже отгребали пушки и встал на запасном пути бронепоезд Первой Конной, в котором воевал пулеметчик Вишневский, и не нужно было больше высаживаться в десанты на реках и морях, но нужно было снова искать ответы на мучившие его вопросы и искать свое новое место под солнцем. И он снова нашел его — страстно увлекся военно-морской теорией, изучил языки, самостоятельно закончил курс в Военно-морской академии, был назначен в эту же академию преподавателем, читал в подлиннике труды западных военно-морских теоретиков, сам написал несколько серьезных теоретических работ о тактике и стратегии зарубежных флотов...

Но гражданская война не оставляла его памяти, его судьбы, его снов. И муза гражданской войны осенила его. Так возникла пьеса, давшая ему славу, — «Первая Конная». Началась новая, непохожая на другие, единственная по-своему жизнь — жизнь Художника.

Душа писателя еще полнилась отблесками гражданской войны, он вошел в литературу бурно, с грохотом, разя налево и направо, иногда без особого разбора, потом он напишет, с некоторой грустью, в своих дневниках, что «переносил по инерции в эти литспоры прежние военные восприятия... Некоторых из своих оппонентов я ненавидел, как врагов на фронте, и нужно было несколько лет, чтобы привести себя в норму, чтобы остыть, чтобы отличить врагов настоящих от друзей...». Сказано было честно и с чувством пришедшей к нему высокой ответственности за другие писательские судьбы.

...Пишутся эти строки о другом и в эти же часы в Москве, на площади Коммуны, в Центральном театре Советской Армии П. Хомский репетирует «Оптимистическую трагедию», а на Тверском бульваре, в Театре имени Пушкина, там, где играл «Оптимистическую трагедию» когда-то Камерный театр, А. Говорухо репетирует эту же пьесу.

И в Ленинграде, родном городе Всеволода Витальевича, на Фонтанке, в Большом драматическом театре имени Горького Г. Товстоногов репетирует «Оптимистическую трагедию».

Кто-то сказал мне: «Мода на «Оптимистическую».

Нет. Не мода. Не хочется пышных слов, ими мы часто злоупотребляем. Но тут не

обойдешься. Не мода, а бесмертные пьесы. А значит, и ее автора.

Ведь Г. Товстоногов ставил уже «Оптимистическую». В другом ленинградском театре — имени Пушкина, в бывшей Александринке. Новые времена вновь вывели тогда эту пьесу на орбиту, она прошла через годы и границы — после постановки в Ленинграде были Берлин и Токио, Париж и Будапешт... Но вот минуло еще два с половиной десятилетия, и тот же режиссер вновь возвращается мыслями и сердцем к этой пьесе, вновь листает ее страницы — стало быть, есть художнический интерес взглянуть на старое произведение очами сегодняшними, восьмидесятих годов...

Вишневскому было тридцать три, когда он пригласил своих друзей из Ленинграда на премьеру в Камерном театре, я был в их числе. Ответливо помню то непередаваемое ощущение, когда раздвинулись створки «бронированного» занавеса и на сцену театра, рафинированного, изысканного, театра «Адренны Лекуврер» и «Федры», вышли схваченные двумя блеклыми лучами двое из восьмидесяти пяти тысяч балтийских и сорока тысяч черноморских матросов, бесконечно дорогих душе драматурга, и неистово ищущих ответов на вопрос «зачем?», и за ними возникнут сумеречное, тревожное небо и смутные очертания палубы и надстроек корабля, которые потом отодвинет на второй план спираль дороги, по которой уйдет в бессмертие матросский полк. И замрет в трепетном предчувствии чего-то большого, значимого зрительный зал, и негромко проронит один из матросов, Ведущий, а по сути скажет сам автор, прячущийся в глубине ложи:

— Какая вежливая тишина.

Помню неистовость зала после финала спектакля, возбужденные лица, рукопожатия, объятия, охрипшего Всеволода, издававшего в ответ на поздравления какие-то нечленораздельные звуки... Счастливую улыбку Алисы Коонен...

Спектакль стал событием. 23 декабря 1933 года «Правда» напишет, что «Оптимистическая трагедия» в такой же мере устремлена в прошлое, как и в грядущее...

Спектакль прошел свыше восьмидесяти раз, он действовал, Вишневский — вмешивался.

Мои нынешним современникам, молодым драматургам, часто и справедливо жалующимся на трудности нашей, по правде говоря, редкой и весьма сложной профессии, стоит напомнить, что и дорога, по которой шел Вишневский к этому этапному спектаклю в Камерном, вовсе не походила и до премьеры, и после на Невский проспект, по которому он прогуливался в детстве. Он воевал против традиционности, банальности, стандартности, он шел в своем поиске напролом, его и прорабатывали, и не понимали, и не принимали, он ставил проблемы остро, бешено сопротивляясь стремлениям отужить, пригладить, сгладить его монологи и диалоги, искал новые формы, прорубал путь к новому содержанию, ушибаясь, зарабатывая синяки и шишки, радуясь и страдая, тратя силы, кровь, мускулы, и это был его путь, который он сам выбрал и которому не хотел изменять. Оттого были у него и противники, явные и тайные... Не всем он пришелся по душе, так и должно было быть.

И оттого, что он был верен